

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ



1

ольшее полувека назад в деревне Лутахенде, где я жил,— в Финляндии, недалеко от Куоккалы,— поселился осанистый и неторопливый молодой человек, с мягкой рыжеватой бородкой, со спокойными и простодушными

глазами, с большим — во всю щеку — деревенским румянцем, и наша соседка по даче, завидев его как-то на дороге, сказала, что он будто бы граф и что будто бы его фамилия Толстой.

Жил он неподалеку — на Козьем болоте, в лесу, в доме старухи Койранен, и окрестные дачницы, в большин-

стве случаев жены писателей, тогда же в один голос решили, что он только притворяется графом, потому что не может же граф, да еще с такой знаменитой фамилией, жить на Козьем болоте, в закоптелой хибарке, у старухи Койранен, в лесу.

Вскоре его привел ко мне небезызвестный в то время поэт Александр Степанович Рославлев, рыхлый мужчина огромного роста, но не слишком большого ума и таланта, третьестепенный эпигон символистов. Рославлев жил тут же, в Лутахенде, и странно было видеть, с какой наивной почтительностью относился к нему юный Толстой. Очевидно, Толстому импонировало то обстоятельство, что Рославлев был писатель, печатался в газетах и журналах и вращался в литературной среде. Толстой часто сиживал у него на террасе, а тот хриплым и напыщенным басом декламировал перед ним свои ницшеанские вирши:

Воскресни, зверь, и, солнце возлюбя,
Отвергни все, что божеским казалось...

И запивал свою декламацию пивом.

Впоследствии, когда наше знакомство упрочилось, мы увидели, что этот юный Толстой — человек необыкновенно покладистый, легкий, компанейский, веселый, но в те первые дни знакомства в его отношениях к нам была какая-то напряженность и связанность — именно потому, что мы были писателями. Очевидно, все писатели были для него тогда в ореолах, и нашу профессию считал он заманчивее всех остальных. Помню, увидев у меня на столе корректурные гранки, присланные мне из журнала «Весы», он сказал, что самые эти слова: «гранки», «верстка», «корректурa», «редакция», «корпус», «пети́т» — кажутся ему упоительными. Всем своим существом, всеми своими помыслами он стремился в ту пору к писательству, и вскоре я мог убедиться, как серьезно относится он к своему будущему литературному поприщу.

Он повел меня к себе, в свое жилье, и тут впервые для меня обнаружилось одно его драгоценное качество, которым впоследствии я восхищался всю жизнь: его талант домовитости, умение украсить свой дом, придать ему нарядный уют.

Правда, здесь, в Финляндии, на Козьем болоте, у него еще не было тех великолепных картин, которыми он старым безукоризненным чутьем красоты увешивал свои стены впоследствии, не было статуй, люстр, восточных ковров. Зато у него были кусты можжевельника, сосновые и еловые ветки, букеты папоротников, какие-то ярко-красные ягоды, шишки. Всем этим он обильно украсил стены и углы своей комнаты. А над дверью снаружи приколотил небольшую дощечку, на которой была наклеена им лиловая (или зеленая?) кошка модного декадентского стиля, и лачугу стали называть «Кошкин дом».

Так, без малейших усилий, даже мрачной избе на болоте придал он свой артистический, веселый уют.

В ту пору он был очень моложав, и даже бородка (мягкая, клинышком) не придавала ему достаточной зрелости. У него были детские пухлые губы и такое бело-розовое, свежее, несокрушимо здоровое тело, что казалось, он задуман природой на тысячу лет. Мы часто купались в ближайшей речушке, и, глядя на него, было невозможно представить себе, что когда-нибудь ему предстоит умереть. Хотя он числился столичным студентом и уже успел побывать за границей, но и в его походке, и в говоре, и даже в манере смеяться чувствовался житель Заволжья,—непочатая, степная, уездная сила.

Посередине комнаты в «Кошкином доме» стоял белый, сосновый, чисто вымытый стол, усыпанный пахучими хвойными ветками, а на столе в идеальном порядке лежали стопками одна на другой толстые, обшитые черной клеенкой тетради. Алексей Николаевич, видимо, хотел, чтобы я познакомился с ними. Я стал перелистывать их. Они сплошь были исписаны его круглым, размашистым, с большими нажимами почерком. Тетрадей было не меньше двенадцати. Они сильно заинтересовали меня. На каждой была поставлена дата: «1901 год», «1902 год», «1903 год» и т. д. То было полное собрание неизданных и до сих пор никому не известных юношеских произведений Алексея Толстого, писанных им чуть ли не с четырнадцатилетнего возраста! Этот новичок, начинающий автор, напечатавший одну-единственную незрелую книжку — «Лирика» (1907), имел, оказывается, у себя за плечами десять-одиннадцать лет

упорного литературного труда. Своей книжки он настолько стыдился, что никогда не упоминал о ней в разговоре со мною. Я в то время, кажется, даже не знал, что ему уже случалось печататься.

Я был старше его всего на несколько месяцев, но, должно быть, казался ему многоопытным, маститым писателем, так как уже года четыре публиковал свои статьи в различных изданиях. Однажды, придя к нему, я стал перелистывать одну из наиболее ранних тетрадей, на которой была указана дата: «1900». Там были сплошь стихи,— конечно, еще очень беспомощные, но самое их количество удивило меня: оно свидетельствовало о необычайной литературной энергии. Некоторые из них имели подзаголовок: «Посвящается матери».

В следующих тетрадях, как я убедился тогда же, к стихам стала примешиваться проза: тут были и обрывки дневников, и записки охотника, и рассказы из студенческой жизни, и клочки театральных пьес, и описания снов, и отчеты о прочитанных книгах, но все же преобладали стихи.

По счастливой случайности, две из этих тетрадей — а их, повторяю, было не меньше двенадцати — сохранились у меня с того древнего времени. Он дал их мне тогда же на прочтение, а потом — уже знаменитым писателем — не захотел получить их обратно, потеряв к ним всякий интерес. Я напоминал ему о них, но он только отмахивался и переводил разговор на другое. Отчего это происходило, не знаю. Может быть, оттого, что в течение всей своей писательской жизни он всегда бывал охвачен своей будущей книгой, — той, которую он в данное время писал, — а к прежним своим сочинениям становился почти равнодушен, вычеркивал их из души. Всякий раз, когда я с ним встречался, он был, так сказать, одержим то своим «Петром», то «Иоанном», то «Хождением по мукам», — а эти старинные тетрадки казались ему, должно быть, совершенной ненужностью, чем-то вроде прошлогоднего снега.

Но для нас они представляют большой интерес, так как в них приоткрывается неведомый нам трудный и долгий путь «становления» Алексея Толстого.

Из этих тетрадок мы видим, например, что в те перво-

начальные годы он пережил большое увлечение так называемой гражданской поэзией. Десятки и десятки страниц заполнены такими стихами:

Мы были гонимы за то, что любили
Свой бедный, усталый народ,
За то, что в него свою душу вложили,
Чтоб мог он воскликнуть: «Вперед,
Вперед к обновлению и счастью России!»

Стихи подражательные, очень банальные, сплошь состоящие из готовых шаблонов. Ни одного самобытного слова: истасканные интонации и ритмы:

Пахарь, скажи, что невесела думушка?
Глянь-погляди: ишь как степь развернулася,—
Пышная, звонкая. Что за кручинушка?
С горя какого спина так согнулася?

Стихи были искренние, но все же в них сказывалась литературная отсталость молодого поэта. Ведь в то же самое время, когда он оперировал такими словесными штампами, в литературе обеих столиц шумно торжествовал символизм, и для большинства сверстников Алексея Толстого подобные сюжеты и ритмы уже не обладали притягательной силой.

Но если бы были нужны доказательства, что Толстой вступил в литературу с большими запасами неистраченной душевной чистоты, следовало бы перелистать эти молодые тетрадки его школьных и студенческих лет. В тетрадке девятисот первого года есть очень характерная запись в духе его тогдашних стихов:

«Помню, когда я был влюблен в крестьянскую девушку, то ни одна нечистая мысль по отношению к ней не приходила мне в голову. Я всегда мечтал спасти ее от несуществующих врагов, всегда старался как можно смелее и красивее проскакать мимо нее на лошади».

Там же довольно подробно описана история его первой любви, такая провинциально наивная, что становятся понятны истоки того целомудрия, которое он впоследствии с такой поэтической силой воспроизвел в Телегине, Даше и Кате, богато наделив их своей собственной ясностью.

Иногда его юношеское простодушие доходило до крайности и могло бы вызвать улыбку у иных мудрецов, которые, однако, не написали ни «Детства Никиты», ни «Петра», ни «Хождения по мукам».

Как-то даже странно читать такую, например, заповедь, с которой он обращается к себе самому:

«Желая описать изящный, красивый или нежный предмет, — пишет он, — нужно подбирать слова, ласкающие слух, и, например, слово *девушка* красивее слова *дева* или *девица*, потому что в первое значение входит суффикс *ушк*, напоминающий (?) по ассоциации идей (!) слово — *душа*».

Лингвистика, конечно, доморощенная и в достаточной степени дикая: между словом *душа* и ласкательно-утешительным суффиксом *ушк* нет никакого родства, но в этих фантастических домыслах провинциального юноши сказалось то пристальное внимание к русскому слову, которое и сделало его впоследствии первоклассным стилистом.

Когда я через пятьдесят с чем-то лет перелистывал обе тетради, мне пришло в голову, что, если бы Ивану Телегину, простоватому герою «Хождения по мукам», вздумалось завести у себя в ранней молодости вот такие тетрадки, он непременно писал бы в них то, что писал у себя в Самаре девятнадцатилетний Толстой, — с такой же великолепной наивностью и, пожалуй, теми же словами, так как у них у обоих, у Ивана Телегина и у Алексея Толстого, один и тот же фундамент характера: несокрушимое душевное здоровье и свежая, щедрая «черноземная» сила.

Если судить о Толстом по этим полудетским тетрадкам, можно увидеть буквально на каждой странице, как много от своей собственной личности внес он в образ Ивана Телегина, хотя в нем самом было очень много другого.

2

Стихи Алексея Толстого, которые я процитировал из его ранних тетрадей, бескрасочны, художочны и вялы. Сколько ни перечитывай их, в них не отыщешь и пробле-

ска тех поэтических сил, которые так богато проявились позднее, в зрелом творчестве Алексея Толстого.

Так же немощны были стихи, которые он напечатал в первом своем сборнике «Лирика», за несколько месяцев до того, как поселился у нас в Лутахенде.

Ничто не предвещало его блестящего литературного будущего, когда в начале 1908 года он уехал из Петербурга в Париж.

Оттуда он прислал мне небольшое письмо по поводу моей статьи «Третий сорт», помещенной в брюсовском журнале «Весы». В этой статье я весьма непочтительно отозвался об эпигонах символизма, в том числе и об Александре Рославлеве, с которым незадолго до этого Алексей Николаевич так часто встречался.

«Дорогой Корней Иванович! — писал Толстой. — Смех — ядовитая штука: припечатает человека, даже и в гробу будет строить рожи. Конец Александру Рославлеву, шабаш Чулкову, только Ленского жаль — жена и сынишка вроде вашего Кольки. За фельетон о Чулкове Соня шлет Вам тысячу благодарностей...

Итак, je vous fais mes compliments¹.

Обратите внимание на французскую фразу. Честное слово, я не лентяй, как Вы обо мне говорите, много работаю над языком и много пишу.

О Париже не говорю! Ах! Милый Корней Иванович, возьмите у Марии Борисовны отпуск на три недели.

А. Н. Толстой.

Спасибо за руготню о Чулкове.

Ваша С. Дымшиц.

12 марта 1908 г.».

Письмо не требует больших комментариев.

Софья Исааковна Дымшиц — художница, ставшая вскоре женою Толстого. Владимир Ленский — петербургский стихотворец, писавший еще более «темно и вяло», чем его прототип. Георгий Чулков — литератор, неудач-

¹ Приветствую Вас! (франц.)

ливый проповедник «соборного индивидуализма», впоследствии историк и романист.

Письмо так и пышет благодушием и счастьем. Чувствовалось, что Алексей Николаевич вполне доволен окружающей его обстановкой: действительно, там, за границей, он очутился в кругу молодых и даровитых писателей, приобщавшихся к новым течениям в искусстве.

Биографы Алексея Толстого один за другим характеризуют эту среду очень злыми словами, забывая, что здесь для него была превосходная школа мастерства, артистизма и литературного вкуса.

Мы видели, как невзыскателен был его вкус еще года три или четыре назад, когда он подражал наиболее убогим писателям прошлого века — бесталанным подражателям Некрасова. А здесь он оказался в тесном общении с людьми, стремившимися к новаторскому стилю, и, хотя ему были чужды их верования, он многому научился у них, и раньше всего их изощренному вкусу.

...Работа над языком заключалась главным образом в пристальном изучении памятников устного народного творчества.

Еще в Петербурге он под влиянием Алексея Михайловича Ремизова стал изучать по книжным материалам русские народные сказки и песни, на основе которых и создал целый цикл стихов, стилизованных под русский фольклор. Эти стихи Толстого оказались опять-таки ниже его дарования, но работа над ними пошла ему впрок. Старинная народная речь, усвоенная им во времена ученичества, сильно пригодилась ему, когда он впоследствии писал свой знаменитый роман о Петре и пьесы из времен Иоанна IV, Екатерины II. Конечно, к тому времени он значительно расширил и углубил свои знания, но их первооснова была здесь.

Не помню, до поездки в Париж или после Алексей Николаевич привел ко мне человека в очках, молчаливого, чрезвычайно солидного и, как мне показалось, убийственно скучного. Звали человека Сергей Гарт. Гарт задумал издавать журнал, которому пророчил небывалый успех. Толстого он пригласил в редакторы. Так вот: не напишу ли я для этого журнала статейку?

Я обещал, но весьма неохотно, так как чувствовал,

что Гарт не союзник Толстому. Но Толстого по молодости лет очень тешила на первых порах новая литературная роль — роль редактора, и он с обычной своей бурной энергией принялся за создание журнала. Вскоре после его посещения я получил от него такое письмо:

«Усиленно ждем от Вас обещанной статьи.

Журнал, куда я вступил редактором, кажется, имеет будущее, по крайней мере заручено сочувствие генералов и старших офицерских чинов.

Если сможете прислать до четверга, то статья пойдет 14 сего месяца.

Ваш *А. Толстой*».

«Генералы», обещавшие Толстому сотрудничество, были, насколько я помню, Федор Сологуб, Алексей Ремизов, «офицерский чин» — Сергей Городецкий.

Вскоре журнал прекратился — из-за полного равнодушия читающей публики. Толстой с радостью сбросил с себя ярмо редакционной работы и всецело посвятил себя творчеству.

После книги «За синими реками» он почти отказался от писания стихов и, напечатав свои ранние повести, сразу же завоевал себе первую славу.

Слава, вначале не слишком-то громкая, оказалась ему к лицу. Он стал еще более осанистым, в его голосе послышалась барственность, на его прекрасных молодых волосах появился французский цилиндр. Артисты, живописцы, писатели охотно приняли его в свой заманчивый круг. Все они как-то сразу полюбили Толстого. Со многими из них он стал на «ты».

Холодноватый и надменный с посторонними, он в кругу этих новых друзей был, что называется, душа нараспашку. Весельчак и счастливец — таким он казался им в те времена, в давнюю пору своих первых успехов.

Когда он, медлительный, импозантный и важный, появлялся в тесной компании близких людей, он оставлял свою импозантность и важность вместе с цилиндром в прихожей и сразу превращался в «Алешу», доброго малого, хохотуна, балагура, неистощимого рассказчика

уморительно забавных историй из жизни своего родного Заволжья.

В такие минуты было трудно представить себе, что этот беззаботный «Алеша», с такими ленивыми жестами, с таким спокойным, даже несколько сонным лицом, перед тем как явиться сюда, просидел за рабочим столом чуть не десять часов, исписывая целые кипы страниц своим круглым старательным почерком.

Едва ли кому было в то время понятно, что эти приливы веселости необходимы ему при той огромной нагрузке, которую он взвалил на себя, — подмастерье, тратящий все силы души на то, чтобы сделаться мастером. Именно оттого, что он проводил каждый свой день за работой, к вечеру его постоянно тянуло резвиться, шалить, каламбурить, рассказывать смешные небылицы. Здесь был его отдых, облегчавший ему его целодневный писательский труд. Я, как и многие, не подозревал тогда о его героическом труженичестве и даже (об этом он и упоминает в своем первом письме) позволял себе журить его за мнимую праздность.

В ту пору его можно было видеть на всех юбилеях, вернисажах, театральных премьерах, — и на воскресных посиделках Сологуба, и на всенощных бдениях Вячеслава Иванова, и на сборищах журнала «Аполлон», и на вечеринках альманаха «Шиповник».

Добродушный, по-деревенски здоровый, он чаще всего почему-то вспоминается мне в гостях, за семейным обедом, когда он неторопливо и непринужденно рассказывает, чуть-чуть похохатывая и изредка проводя рукою по правой щеке сверху вниз, словно умывая лицо (его излюбленный жест), какой-нибудь потрясающе нелепый, диковинный, анекдотический случай, и кто-нибудь уже убежал из-за стола — отсмеяться.

Повторяю: это был его лучший отдых, — и нужно ли говорить, что все его настроение зависело от удач за письменным столом. Каждый день он задавал себе определенный урок: такое-то количество страниц — и, лишь выполнив этот урок, позволял себе покинуть кабинет. Таким я наблюдал его в Петербурге, в Москве, в Ташкенте, за границей, в Барвихе — повсюду. Если для выполнения урока требовалось несколько лишних часов, он, даже во время болезни, отдавал эти часы своей рукописи.

Как-то я пришел к нему утром и сказал, что с ним хочет познакомиться Владимир Галактионович Короленко. Не могу вспомнить, в котором году это было (в 1911-м или в 1912-м). Помню только, что Толстой жил тогда на Старо-Невском проспекте в большом угловом доме неподалеку от Лавры.

Он очень обрадовался, тотчас же бросил работу, надел самый лучший костюм, взял цилиндр («Шутка ли, Соня, иду к Короленко!») — и не прошло получаса, как мы уже сидели в заваленном книгами кабинете писателя Н. Ф. Анненского, в семье которого гостил Короленко.

Он встретил Толстого приветливо, но чуть-чуть отчужденно, в чем был повинен, мне кажется, фатоватый цилиндр, а еще больше монокль, почему-то вставленный Толстым в левый глаз.

Речь зашла о художнике Борисе Кустодиеве, который незадолго до этого закончил портрет (или бюст?) Николая II и рассказывал многим, в том числе и мне, о своих встречах с царем. Царь поразил его своим тусклым обличьем и бесцветностью своих разговоров. К великому моему удивлению, Толстой, передавая Владимиру Галактионовичу то, что мы узнали на днях от Кустодиева, расцветил весь рассказ феерическим блеском. Царь, по словам Толстого, предстал перед художником не сразу. Вначале из распахнутых дверей вышли румяные, грудастые мордастые девки (Толстой выговаривал: дьефки), потом арапы, арапы, арапы, арапы, лупоглазые (Толстой выговаривал лупоглазый, с двумя ударениями — на а и на и), вот с такими усищами, с такими бровищами, потом черкесы колоссального роста, потом шталмейстеры, потом гайдуки и, наконец, крохотный карлик с кривой бородашкой, и на черепе у него вот такой шрам.

— Карлик?

— Да. И на черепе шрам.

Оказалось, что воображению Толстого этим карликом представился царь. Картина вышла колоритная, но вполне фантастическая.

Вообще молодого Толстого влекло к таким невероятным гротескам, что и отразилось на многих его ранних повестях и рассказах.

Живописуя какой-нибудь подлинный случай, он любил приукрашивать его самым необузданным вымыслом. Слишком уж избыточно он был наделен гиперболически пышными образами и горячими, буйными красками.

Короленко слушал его с большим интересом и от души смеялся его выдумкам. А когда гость, очень довольный собою, ушел, Короленко сказал о нем кому-то из близких:

— Яблоко отличного сорта, крупное, но еще очень зеленое. Если созреет да не заведутся в нем черви, выйдет чудесный апорт.

Старому народнику была по душе общая тематика рассказов молодого Толстого: вырождение русского дворянства, но (проговорил Короленко со смехом) «слишком уж размахистое у него вдохновение».

— К тому же, — со вздохом прибавил Владимир Галактионович, — он в плену у декадентов.

Думаю, что это было большим заблуждением. Ни у кого в плену Толстой никогда не бывал, но учился он решительно у всех. Дань декадентству он действительно отдал, хотя уже через два-три года начисто порвал с этим течением. Впоследствии он очень резко отзывался о символистах, но для меня не было никакого сомнения, что увлекается он ими искренне. Не забудем, что в 1907 году свое стихотворение «Хвала» он посвятил А. М. Ремизову¹. А несклько позже писал не без гордости одному своему близкому родичу о тех «триумфах», которые устроили ему Бальмонт, Брюсов, Минский, Волошин и другие писатели, причастные к «декадентскому» лагерю. В своей биографии он прямо говорит, что одно время на него очень влиял Вячеслав Иванов².

Я встречался с Толстым не раз в так называемых «декадентских салонах», где были и Андрей Белый, и Поликсена Соловьева, и Мережковские; видел его у Леонида Андреева, у Сергея Маковского — и там

¹ И. С. Рождественская и А. Г. Ходюк. А. Н. Толстой. Семинарий. Л., 1962, стр. 126.

² В 1913 году Вячеслав Иванов написал стихотворение «Дельфины» под непосредственным влиянием А. Н. Толстого. К этому стихотворению предпослан в качестве эпиграфа отрывок из толстовских «Писем с пути». Отрывок начинается так: «В снастях и реях засви-

и здесь он держался как свой среди своих, очень дружелюбно, и хотя вскоре обнаружилось, что он, реалист по природе, органически чужд символистам, все же, повторяю, кратковременное сближение с ними было для него не совсем бесполезно: оно помогло ему отшлифовать свой талант и выработать свой собственный нео-реалистический стиль, весьма далекий от стиля мелко-травчатых бытовиков-реалистов типа Евгения Чирикова или Василия Муйжеля.

Уже в старости он прочитал большой том переписки Андрея Белого с Блоком и говорил мне, что только теперь ощутил в полной мере подлинное величие Блока и научился преклоняться перед ним.

— Если бы я знал тогда его переписку с Белым, я написал бы своего Бессонова иначе,— говорил он мне в Ташкенте уже незадолго до смерти.

А сколько добра принесла ему близость с такими художниками, как Сомов, Кустодиев, Бакст, Бенуа, Головин, Добужинский, можно судить по тому безупречному вкусу, с которым он уже в начале десятых годов стал разбираться в архитектуре и в живописи.

Мне случалось в более позднее время бродить с ним по антикварным лавчонкам, и я видел, как он, покопавшись в заброшенной грудке, казалось бы, никчемных вещей, извлекал какой-нибудь никем не замеченный перстень, или ларец, или потускневший шандал, или парчу, или трубку, которые, когда он приносил их домой, вызывали восторг знатоков и оказывались чудом искусства.

Прекрасное убранство его комнат — и в Детском Селе, и в Барвихе, и в Москве на Спиридоновской улице (ныне

стел ветер, пахнувший снегом и цветами». Этот отрывок так полюбился Вяч. Иванову, что он целиком перенес его в свое стихотворение:

Ветер, пахнувший снегом и цветами,
Налетел, засвистел в снастях и реях...
и т. д.

Стихотворение помечено мартом 1913 года. Напечатано в «Невском альманахе», 1915. Оно написано вскоре после того, как в журнале «Черное и белое» Толстой напечатал эпиграмму на Вяч. Иванова (1912, № 2).

улица Алексея Толстого) — тоже «свидетельствовало о его изысканном вкусе: и картины, и фарфор, и обои, и мебель, и каждая безделушка на каминной доске — все было подчинено самой строгой гармонии, и ничто не нарушало ее.

Это чувство красоты и гармонии не могло, конечно, не сказаться и на стиле всего его творчества.

Когда он порвал с символистами, годы его ученичества кончились: из подмастерья он сделался мастером. Это стоило ему колоссальных усилий. Всякому, кто хоть бегло перелистает летопись его жизни и творчества, бросится в глаза раньше всего необъятное количество рассказов, повестей, стихотворений и сказок, написанных им в те первоначальные годы. В каких только изданиях не сотрудничал он, например, на двадцать пятом году своей жизни: и в «Ниве», и в «Тропинке», и в «Луче», и в «Сатириконе», и в «Солнце России», и в «Утре России», и в приложении к газете «Копейка», и в «Журнале театра Литературно-художественного общества», и в «Новом журнале для всех», и в «Весах», и в «Аполлоне», и в альманахе «Шиповник», и в альманахе журнала «Театр и искусство», и в «Галчонке», и в журнале «Образование», и во «Всеобщем журнале», — поразительная энергия творчества¹.

Чтобы одновременно в течение года печататься в *шестнадцати разных* изданиях, нужно было работать не разгибая спины.

Трудился он тогда споро и весело. В 1911 году издательство «Шиповник» поручило мне составить альманах «Жар-птица». Я обратился к Сергееву-Ценскому, Саше Черному, Марии Моравской, Владимиру Азову и к Алексею Толстому.

— А какой сюжет? — спросил он.

— Хотелось бы о Жар-птице... Если, конечно, эта тема вам по сердцу.

— Ладно! — сказал он. — Мне по сердцу всякая тема.

В то время это было действительно так. Но, в сущности, своей заветной, выстраданной, единственной те-

¹ См. И. С. Рождественская и А. Г. Ходюк. А. Н. Толстой. Семинарий, Л., 1962, стр. 130—133.

мы у него тогда еще не было, а было лишь «настройство души» — чисто стихийное, бездумное ощущение счастья.

«Алексей Толстой талантлив очаровательно,— писал я о нем в те времена в одной из газетных статей.— Это гармоничный, счастливый, свободный, воздушный, насколько не напряженный талант. Он пишет, как дышит. Что ни подвернется ему под перо: деревья, кобылы, закаты, старые бабушки, дети,— все живет и блесит и восхищает...»

И позже — через несколько лет:

«В страшную пору «Черных масок» и «Крестовых сестер»¹ он явился перед читателем с «Повестью о многих превосходных вещах», — в ней и небо синее, и трава зеленее, и праздники праздничнее; в ней телячий восторг бытия. Читайте ее, ипохондрики: каждого сделает она беззаботным мальчишкой, у которого в кармане живой воробей. Это Книга Счастья — кажется, единственная русская книга, в которой автор не проповедует счастья, не сулит его в будущем, а тут же источает его из себя.

— Хорошо, Никита? — спрашивает у мальчика его веселый отец.

— Чудесно! — отвечает Никита.

Все образы и события в этой радостной книге отмечены словом *чудесно*... Каждая книга Алексея Толстого есть, в сущности, «Повесть о многих превосходных вещах».

И в жизни он казался таким же Никитой. Недаром всюду, куда приходил он тогда, его встречали улыбками, веселыми возгласами.

Вообще это был мажорный сангвиник. Он всегда жаждал радости, как малый ребенок, жаждал смеха и праздника, а насупленные, хмурые люди были органически чужды ему.

Когда мы жили в Ташкенте, мы условились, что будем ежедневно ходить в тамошний Ботанический сад, который нравился Толстому своей экзотичностью.

Два раза совместные наши прогулки прошли благополучно, но во время третьей я неосторожно сказал:

¹ «Черные маски» Леонида Андреева, «Крестовые сестры» Алексея Ремизова.

— Теперь, когда мы оба уже старики и, очевидно, очень скоро умрем...

Толстой промолчал, ничего не ответил, но едва мы вернулись домой, уже с порога заявил своим близким:

— Больше с Чуковским никуда и никогда не пойду. Он такие га-а-адости говорит по дороге.

Вообще он органически не выносил разговоров о неприятных событиях, о болезнях, неудачах и немощах. Не потому ли он так нежно любил своего друга Андроникова, что Андроников всюду, куда бы ни являлся, вносил с собою радостный праздник. Глядя, как этот замечательный комик воплощается то в Пастернака, то в Фадеева, то в профессора Щербу, то в Качалова, то в Маршака, Алексея Николаевич, блаженно зажмурившись, попыхивал трубкой и был готов без конца упиваться каждой деталью воссоздаваемых Андрониковым уморительных образов. И весь расцветал от улыбки, когда Андроников перевоплощался в него самого.

Человек очень здоровой души, он всегда сторонился мрачных людей, меланхоликов, и всякий, кто знал его, не может не вспомнить его собственных веселых проделок, забавных мистификаций и шуток.

Как-то в Кисловодске мы жили с ним в пансионе «Лариса», и тут же поселился один очень милый заезжий простак, никогда не выдавший гор. Заметив, что вверху, на большой крутизне, каким-то чудом пасутся коровы, он с недоумением спросил у Толстого, почему же они не падают в пропасть.

— Видите ли,— очень серьезно ответил Толстой,— у здешних коров с самого рождения особые ноги: две правые вдвое короче двух левых — вот они и ходят вокруг самых узких вершин и не падают. Приспособились к местным условиям — по Дарвину.

— А если они захотят повернуть и пойти в обратном направлении?

— Им это никак невозможно. Сразу же сверзятся в бездну. Только по кругу, вперед и вперед... Впрочем, у каждого горца есть особые костыли, специально для этих коров... привинчиваются к правым ногам, когда коровы выходят на гладкое место.

И Алексей Николаевич стал подробно описывать устройство только что изобретенных им коровьих костылей, а

простосердечный приезжий достал из кармана блокнот и благоговейно записал этот вздор.

— А какая гора выше всех? — спросил он, озирая Кавказский хребет.

— Алла Верды, — ответил не моргнув Алексей Николаевич. — Вечером мы собираемся взойти на нее.

«Алла Верды» — кабачок, или, вернее, шашлычная, приютившаяся не на горе, а в низине. Вечером мы втроем совершили «восхождение вниз».

— Почему же вниз? — удивлялся всю дорогу простак.

— Диалектика.

Тогда же, живя в «Ларисе», Алексей Николаевич сочинил любовную записку, адресованную некоему седовласому фату от имени восемнадцатилетней девицы, которой этот мышинный жеребчик надоедал своим безнадежным ухаживанием. В записке старику назначалось свидание на Синих камнях, то есть на такой высоте, которая почти недоступна для людей его возраста. Записка сочинялась в веселой компании, с ведома нашей юной приятельницы, и когда, нарушая запреты врачей, влюбленный старик кое-как доковылял до вершины и, простирая руки, направился к девушке, мы вышли всей оравой из-за скал и встретили его дружными возгласами, которые, хочется думать, отвಾದили его от дальнейших донжуанских попыток.

Таким я помню Толстого во все времена.

Помню, как в Детском Селе он предупреждал свою дряхлеющую тетюшку Марию Леонтьевну:

— Не говори по телефону, боже тебя сохрани. На улице ветер, мороз. Надует тебе в уши, простудишься!

В ресторане «Арагви», за несколько месяцев до Отечественной войны, мы чествовали одного иностранного автора. Толстой был председателем и сидел во главе стола. К концу обеда гостем был поднят бокал за процветание наших братских республик. Толстой, которому, очевидно, наскучила чинность этой торжественной трапезы, в ответном тосте сообщил иностранцу, что у нас на Кавказе есть будто бы еще одна — очень небольшая — республика под поэтическим названием — Чахохбили. Населения в республике две тысячи человек — не больше. И все же у этой микроскопически малой страны есть великий национальный поэт, слагающий бессмертные песни о ее мудрецах и

героях. Тут Алексей Николаевич указал на скромнейшего из всех литераторов, робко сидевшего за этим столом и меньше всего склонного к созданию чахохбийского эпоса. Гость, не подозревая подвоха, провозгласил здравицу за доблестный народ Чахохбили и за его великого ашуга и, встав из-за стола, чокнулся с несчастным писателем, готовым провалиться сквозь землю.

И все сошло бы благополучно, если бы жена иностранца не понимала по-русски. Безобидная шутка Толстого больно задела ее, и она стала растолковывать мужу, что он сделался жертвою розыгрыша. Чтобы не дать ей возможности договорить до конца, Толстой достал откуда-то огромный охотничий рог, налил его доверху вином и пояснил, что по русским обычаям гостю полагается сию же минуту выпить весь этот рог до конца. К счастью, гость, уразумев его шутку, отнесся к ней довольно благодушно и даже не попытался осушить этот рог...

Старожилы писательского городка в Переделкине, я думаю, еще не забыли, как Алексей Николаевич в том же 1941 году приехал туда из Москвы, чтобы пропеть серенады под окнами проживавших там В. М. Бахметьева, В. Я. Шишкова, А. А. Фадеева и других.

Еще раньше — в эпоху первой «германской войны», в феврале 1916 года, — мы, Толстой, Башмаков, Вас. Немирович-Данченко, Владимир Набоков, Егоров и я, совершили поездку в Англию через Финляндию, Швецию, Норвегию и были неразлучны целый месяц. То был месяц напряженной работы (в течение этого месяца Толстой написал целую книгу) и раскатистого молодого смеха.

Толстой выдумал для общей потехи двух молодых губошлепов, вечно пьяных купцов братьев Хлудовых. Предполагалось, что эти тупоголовые братья приехали в Англию из города Сызрани и входят в состав нашей группы. Куда бы мы ни ездили в те дни — к королю Георгу V в Букингемский дворец, или к Герберту Уэллсу в его усадьбу под Лондоном, или к Ллойд-Джорджу в его министерство, — братья Хлудовы, по воле Толстого, невидимо сопровождали нас, и все, что случалось с нами, Толстой излагал языком этих созданных его воображением братьев. Даже корреспондент «Нового времени» Е. А. Егоров, угрюмый, молчаливый мизантроп, и тот фыркал украдкой в кулак, слушая «Хлудовиану» Толстого.

Наша поездка оставила немало следов на страницах моего рукописного альманаха «Чукоккала».

Там есть, например, забавный экспромт Вас. Немировича-Данченко, написанный еще на пароходе — по пути из Норвегии в Англию. В экспромте говорится, что стало бы с каждым из нас, если бы мы наткнулись на немецкую мину. Об Алексее Николаевиче сказано:

Восплачь, Москва! Восплачь, Веря!
Века несчетные пройдут,
Но даже трубки Алексея
Здесь водолазы не найдут.

И только там, где пал, о боги,
Сей легковёрный Алексей,
Одни норвежские миноги
Жирнее станут и вкусней.

«Легковёрным» Алексей Николаевич был назван на том основании, что он с большим доверием отнесся к рассказу Набокова, будто капитан парохода сообщил ему под великим секретом, что за нами охотится германская подводная лодка и будто мы вступили в опасную зону, кишашую германскими минами.

17 февраля на пути из Шотландии в Лондон Алексей Николаевич написал в «Чукоккалу» такие стихи:

«Здесь руку приложил Джеллико
И Росс, и Уэрдель, и сэр Грей¹.
Так как же подписи моей
Не затонуть в реке великой?!

Но, возвратясь в Чукоккалу, постарайтесь-ка поискать королей, лордов и знаменитых адмиралов под диваном и за книжными шкафами.

Там не найдете королей,
Хотя б и были очень горды...
Придется вспомнить вам, Корней,
Что есть знакомые не лорды.

Граф А. Н. Толстой».

¹ В «Чукоккале» есть автографы адмирала сэра Джона Джеллико, командовавшего великобританским флотом; нобелевского лауреата профессора Рональда Росса; министра иностранных дел сэра Эдуарда Грея; писателей Конан Дойла, Герберта Уэллса, Эдмунда Гобса и других именитых англичан.

Вообще в «Чукоккале» он сотрудничал очень охотно. Как-то до Октябрьских дней на вечеринке у Федора Сологуба выступил со своими поэмами эгофутурист Игорь Северянин. В этих поэзах он с необыкновенным талантом (и с потрясающим отсутствием вкуса!) культивировал псевдоаристократический стиль.

Остроумная Надежда Александровна Тэффи, высмеивая этот салонно-кокотистый стиль, написала в «Чукоккалу» такую пародию на Игоря Северянина:

И граф сказал кокетессе:
— Мерси вас за чай и за булку!

— Нет,— сказал Толстой,— вы не знаете высшего света.

И, взяв «Чукоккалу», пропародировал Игоря Северянина так:

«Графиня, проснувшись поутру, полезла под кровать за известным предметом.

— Графиня, не за то хватаетесь! — загремел под кроватью голос знаменитого сыщика».

...Зная, что я обычно ложусь спать очень рано, и увидев меня на одном юбилее во втором часу ночи, он разыграл пантомиму ужаса — словно увидел привидение — и, прячась за широкую спину поэта Михаила Лозинского, стал шептать смешные заклинания, а потом написал в «Чукоккале»:

«Чуковский, идите спать, ради бога! Видеть вас в этот час дико, неестественно и жутко!»

Таким Алексей Николаевич оставался до конца своей жизни.

Уже незадолго до его последней болезни, чуть ли не в 1944 году, я пришел к нему в московскую квартиру и увидел, что он в полумраке целует какую-то женщину. При моем появлении он изобразил на лице чрезвычайный испуг, будто я и в самом деле застиг его за каким-нибудь греховным поступком, он стал умолять меня всеми святыми, чтобы я никому не выдавал его тайны.

— Я люблю эту женщину,— говорил он, дрожа,— что делать? что делать? Пожалейте меня, пощадите меня!

И лишь потом, когда зажгли электричество, мне удалось разглядеть, что то была его дочь Марьяна, которая пришла попрощаться с отцом.

Как известно, в 1919 году он покинул Россию и три с половиною года провел в эмиграции.

Что он делал в это время, не знаю. И вдруг весной 1922 года я получил от него большое письмо, где он сообщает о том, что эмигрантское житье ему ненавистно и что он хотел бы воротиться на родину. Я ответил ему горячим и довольно нескладным посланием, советуя ему воротиться¹.

Он откликнулся тотчас же и в письме от 20 января 1922 года писал:

«Милый Корней Иванович! Вы доставили мне большую радость вашим письмом. Первое и главное — это то, что у вас, живущих в России, нет зла на нас, бежавших. Очень важно и радостно, что мы снова становимся одной семьей. Важно потому, что, как мне кажется, — никогда еще на свете не было так нужно искусство, как в наши дни: в нем залог спасения. Радостно потому, что эмиграции — пора домой. Эмиграция, разумеется, уверяла себя и других, что эмиграция — высококультурная вещь, сохранение культуры, неугашение священного огня. Но это так говорилось, а в эмиграции было собачья тоска: как ни задирались, все же жили из милости в людях; и думалось, — может быть, вернемся домой и там примут неласково: без вас обходились, без вас и обойдемся. Эта тоска и это бездомное чувство вам, очевидно, не знакомы. В особенности когда глаза понемногу стали видеть вещи жизни, а не призраки, началась эта бесприютная тоска. Много людей наложило на себя руки. Не знаю, чувствуете ли вы с такой пронзительной остротой, что такое родина, свое солнце над крышей? Должно быть, мы еще очень первобытны или в нас еще очень много растительного, и это хорошо, без этого мы были бы просто аллегориями. Пускай наша крыша убогая, но под ней мы живы».

¹ См. И. С. Рождественская и А. Г. Ходюк, А. Н. Толстой. Семинарий. Л., 1962, стр. 145.

Письмо было длинное и кончалось такими словами:

«Обращаюсь к вам с большой просьбой, Корней Иванович: я составляю сейчас двухнедельный журнал, литературно-критический, без политики. Журнал есть приложение к газете «Накануне» (группа «Смена вех»). Передайте мою горячую просьбу Замятину и Серапионовым братьям прислать рукописи для журнала. К Серапионовым братьям душевно присоединяюсь.

А. Толстой».

(«Накануне» — сменовеховский орган, издававшийся эмигрантами-«возвращенцами» в Берлине. *Литературное приложение* к «Накануне» издавалось под редакцией А. Н. Толстого. Серапионовы братья — К. Федин, Лев Лунц, Мих. Зощенко, Н. Тихонов, Мих. Слонимский. Толстой, задумав воротиться на родину, естественно, стремился к сближению с группой своих младших товарищей).

Его письмо от 20 мая:

«...Напишите мне, что вы знаете о моей дочери Марьяне. Ее мать, Софья Исааковна, написала мне еще в декабре 1921 года в Париж. Я письмо получил в конце февраля и тотчас же ответил. Я очень беспокоюсь о девочке.

Посылаю вам «Детство Никиты». «Любовь, книгу золотую» послал с месяц назад.

Р. С. Альманах Серапионовых братьев я приобрел — выхватил у Эренбурга — для издательства «Русское творчество».

Я в то время пытался составить альманах для детей — «Носорог» — и обратился к Толстому, чтобы он написал для альманаха рассказ. Он ответил мне (1 октября 1922 года):

«С удовольствием напишу для «Носорога» рассказ: он будет называться «Носорог» — из африканской жизни. Будьте благонадежны в смысле знания природы этого животного и его штук...

В сентябре кончаю новый роман «Аэлита» — это сплошь из жизни носорогов — место действия на Марсе. Вот волюшка-то для фантазии!..

Снег уже стаял. Ругали меня с остервенением и сла-

дострастием. Надоело, и перестали. Но почему — не говорить правду? Неужели нужно всегда и всюду притворствоваться?»

И другое письмо, присланное через несколько дней:

«...Рассказ для «Носорога» я уже начал писать. Окончу его через неделю. Мне приходится писать его урывками по вечерам, так как все остальное время я спешно кончаю роман («Аэлита» — закат Марса). Аэлита — имя очень хорошенькой и странной женщины. Роман уже переводится на немецкий.

Через неделю вышло — непременно, так вы твердо и рассчитывайте, — в 2-х копиях, чтобы не пропало.

О Марьяне пишу в следующем письме.

Ваш *А. Толстой*».

Было еще несколько писем — сплошь деловых. И вот наконец летом 1923 года он приехал из-за рубежа в Петроград. Приехал какой-то растерянный, настороженный, тихий и, как мне показалось, больной. Походка его, обычно такая ленивая, спокойная, барственная, стала торопливой и нервной. Свое тогдашнее душевное смятение он очень отчетливо выразил в краткой записи, которую в тот же день сделал в альманахе «Чукоккала».

«4 июня 1923 года, — написал он, — в первый день приезда в Петроград, в день моей лекции, за полчаса до нее, с тараканьими ногами от встречи с тем, что я еще не знаю и не чувствую».

Это единственные в «Чукоккале» строки Толстого без всяких покушений на юмор. Вообще никогда я не видел Толстого таким самоуглубленным, молчаливым, серьезным. Словно он там, в эмиграции, разучился шутить и смеяться¹.

¹ В летописи его жизни указывается, что он еще в мае приезжал в Россию на короткое время, потом снова уехал в Берлин, потом (1 августа 1923 года) снова воротился в Россию (см. И. С. Рождественская и А. Г. Ходюк. А. Н. Толстой. Семинарий. Л., 1962, стр. 147). Думаю, что эти указания правильны. Но в «Чукоккале» Толстой указывает, что первый день его приезда в Петроград — 4 июня 1923 года;

В тот же вечер он (кажется, в здании бывшей городской думы) прочитал свою повесть «Рукопись, найденная в мусоре под кроватью». Его слушали хмуро и сумрачно. Но Серапионовы братья приняли его очень радушно, как старшего товарища и высокоценимого мастера. Он дал им для их «серапионовского» сборника отрывки из той же «Рукописи».

Когда я встретил его через несколько месяцев (чуть ли не у Павла Елисеевича Щеголева), оказалось, что он полностью вернул себе былую свою импозантность. Снова походка его стала уверенной, голос решительным, снова полюбил он подолгу сидеть вечерами в дружной компании старых (и новых) друзей — в обществе поэтов, актеров, певцов, музыкантов и, похохатывая, рассказывать им всякие гротескные истории.

И сразу же впрягся в работу, не давая себе никакой передышки. В конце того же 1923 года он принялся за писание повести «Ибикус», где изобразил некоего пошло-го, но вдохновенного жулика, попавшего в водоворот революционных событий. Первые части «Ибикуса» писались, так сказать, у меня на глазах, ибо в ту пору я был одним из редакторов «Русского современника», в котором эта повесть печаталась. Толстой писал ее с феноменальной быстротой, без оглядки, хотя и перенес в это время затянувшийся грипп. Он не придавал большого значения «Ибикусу» и пожимал плечами, когда я говорил ему, что это одна из лучших его повестей, что в ней чувствуешь на каждой странице силу его нутряного таланта.

Повесть эта все еще недооценена в нашей критике, между тем здесь такая добротность повествовательной ткани, такая легкая, виртуозная живопись, такой богатый, по-гоголевски щедрый язык. Читаешь и радуешься артистичности каждого нового образа, каждого нового сюжетного хода. Власть автора над своим материалом безмерна. Оттого-то и кажется, что он пишет «как бы резвяся и играя», без малейшей натуги, и будто бы ему не стоит никакого труда вести своего героя от мытарства к мытарству.

Герой этот — родной или двоюродный брат бессмертного Остапа Бендера — при всей своей дрянности был все же привлекателен для Алексея Толстого своей неутомимой энергией, «стремлением к действиям и деяниям» (как

признавался Алексей Николаевич в одной записке по поводу «Ибикуса»).

Гораздо больше, чем «Ибикусом», Толстой в то время был поглощен своим «Бунтом машин»¹, книгой «Черная пятница», «Заговором императрицы» и проч. Вообще в первые же месяцы после своего возвращения на родину он стал трудиться с удесятенной энергией — брался за десятки дел, и признаюсь, мне казалось в ту пору, что слишком уж часто распыляет он свое дарование, то и дело отрываясь от одной недоконченной вещи ради того, чтобы приняться за другую, — отчего вся его духовная жизнь представлялась мне клочковатой, обрывистой, пестрой.

В самом деле: закончив, например, первые главы «Петра», он едет на Сясьстрой, на строительство бумажного комбината, а потом на Кубань — посмотреть кубанские колхозы, а вернувшись, сейчас же начинает работать над третьей частью «Хождения по мукам». Но не доводит ее до конца и берется за новый роман — «Черное золото».

Три романа, совершенно различные по стилю: весною — один, осенью — другой, зимою — третий.

А в промежутках между романами — повести, пьесы, рассказы и множество газетных статей — то о челюскинцах, то о Сергее Мироновиче Кирове, то о Викторе Гюго, то о Валерии Чкалове, то о Всесоюзной сельскохозяйственной выставке и так далее и так далее, без конца.

И выступления на всевозможных трибунах с докладами, речами и лекциями — сегодня о Давиде Сасунском, завтра о западных белорусах, потом о литературе для детей и подростков, потом — в связи с соответствующими юбилейными датами — о Тарасе Шевченко, потом — о Лермонтове, потом — о Салтыкове-Щедрине.

И участие во всевозможных комитетах, комиссиях, ассоциациях, сессиях — воистину только могучее здоровье Алексея Николаевича и его почти волшебное умение работать помогло ему вынести такую нагрузку.

А если вспомнить при этом, что в то же время он метался между городами и странами, посещая то Париж, то Мадрид, то Кандалакшу, то Хибиногорск, то Махачкалу, то Кронштадт, покажется подлинным чудом, что при всей

¹ Пьеса К. Чапека, переработанная Толстым для русской сцены.

этой почти непрерывной самоотдаче животрепещущим, злободневным событиям он умудрялся создавать такие шедевры исторической живописи, которые, казалось бы, требуют уединенного сосредоточения мысли.

Но в том-то и заключалась парадоксальность его писательской природы, что чем дальше уходил он от темы, над которой работал в то время, тем больше эта тема выигрывала, обогащаясь новыми образами, новыми горячими красками, стоило ему воротиться к ней вновь. Так что разметанность и клочковатость его литературной работы была мнимая, кажущаяся. Он вполне приспособился к изобилию и разнообразию задач, которые так часто вставали перед ним. Поэтому даже не слишком роптал, когда на него сваливалась новая тема, отвлекавшая его от основного труда. У него была теория, что те занятия, которые уводят его прочь от главных его сюжетов, на самом деле способствуют им.

И что бы он ни делал, он делал с максимальным напряжением сил.

Мне рассказывали люди, которые в 1928 году сопровождали его в Синельниково и в соседние местности (когда он приезжал туда собирать материал для романа «Хождение по мукам»), что он замучил их всех своей неутомимой и жадной пытливостью; так неистово изучал он и пейзаж этих мест, и характер их жителей, и местные архивы, и свидетельства участников гражданской войны, что спутники его буквально падали с ног от усталости и уходили один за другим отдыхать, а он, забывая о сне и еде, с каждым часом становился все бодрее.

Таким же я видел его и в Киеве на шевченковских празднествах, и в Бельгии, и во Франции во время войны, и в Ботаническом саду в Узбекистане, и на британской миноноске,— везде он был весь обуян неугасимым любопытством, ненасытной страстью к жизневедению.

Ираклий Андроников, ездивший как-то вместе с ним в Ярославль, рассказывает, что Толстой, прибыв туда по случайному поводу, не сомкнул глаз трое суток, досконально изучая этот город, его быт, его историю, его нравы, хотя вид у Толстого был в то время такой, будто он приехал сюда развлекаться. Конечно, развлечением была отдана богатая дань, но они, как всегда у него, были, так сказать, приправой к работе. Во время этой поездки, вспо-

минает Андроников, Толстой поставил на Ярославском вокзале бутылку из-под коньяку или рома, а сам вместе со смертельно утомленными спутниками спрятался в канаве поблизости — подсмотреть, как отнесутся к этому соблазну шоферы проезжающих мимо машин¹.

Все это время он производил впечатление человека даже чрезмерно здорового. Нужно ли говорить, что, когда он заболел, он не бросил работы. Физические страдания он испытывал страшные — у него была злокачественная опухоль легкого, — но он, героическим усилием воли преодолевая страдания, писал третью, и последнюю, книгу «Петра». «Трудно поверить, — говорит его биограф, — что блещущие жизнью, любовью, полные жизнерадостных красок и огромного оптимизма строки созданы умирающим человеком»².

Из будущих глав романа, которые ему так и не привелось написать, особенно ярко вставала пред ним картина святочных веселий в петровской Москве. «Эту главу, — читаем у того же биографа, — он предвкушал с наслаждением. Ему весело было думать о полнокровном своеобразном размахе русской жизни, таком близком ему»³.

Человек, который, как чудилось мне, не выносил тяжелых впечатлений и малодушно отгонял от себя всякие безрадостные мысли о неприятностях, болезнях и смертях, когда смерть вплотную подступила к нему, встретил ее без жалоб и стонов, мужественно скрывая свою боль от других.

Вообще перед смертью он как-то возвысился сердцем и весь просветлел, и талант его раскрылся во всей своей мощи. Оттого-то третья книга его «Петра» (незаконченная) сильнее и значительнее двух предыдущих.

Его воображение дошло до ясновидения. Это поразило меня еще за год до того, как он окончательно свалился в постель. Я был у него, на его московской квартире, и он, не зажигая огня, импровизировал диалог между царицей Елизаветой Петровной и кем-то из ее приближен-

¹ Интересные подробности этой поездки в книге Андроникова «Я хочу рассказать вам...». М., «Советский писатель», 1963.

² Ю. А. Крестинский. А. Н. Толстой. Жизнь и творчество. М., «Советский писатель», 1960, стр. 306.

³ Там же, стр. 307.

ных — такой страстный, такой психологически тонкий, с таким глубоким проникновением в историю, что мне стало ясно: как художник, как ведатель души человеческой, как воскреситель умерших эпох, он поднялся на новую ступень. Это ощущал и он сам и, счастливый этим ощущением своего духовного взлета, строил грандиозные планы, куда входили и роман из эпохи послепетровской России, и эпопея Отечественной войны, и еще одна драма из эпохи Ивана IV.

— Мне часто снятся целые сцены то из одной, то из другой моей будущей вещи, — говорил он, радостно смеясь, — бери перо и записывай! Прежде этого со мной никогда не случалось.

И вот вместо творческих радостей — удушье, тошнота, изнеможение, боль. Но он остался верен себе: за несколько недель до кончины, празднуя день рождения, устроил для друзей веселый пир, где много озорничал и куролесил по-прежнему, так что никому из его близких и в голову прийти не могло, что всего лишь за час до этого беспечного пиршества у него неудержимым потоком хлынула горлом кровь.

1958—1963